

Дом с привидениями

Автор:

[Вирджиния Вулф](#)

Дом с привидениями

Вирджиния Вулф

Эксклюзивная классика (АСТ)

На протяжении всей своей жизни Вирджиния Вулф писала рассказы: делала небольшие заметки и откладывала их, пока они не становились частью романов или доработанными произведениями.

В 1921 году увидел свет единственный прижизненный сборник под названием «Понедельник иль вторник».

В 1940 году она решила выпустить новую книгу, включив в нее как уже выходившие рассказы – шесть из книги и шесть, напечатанных в различных журналах, – так и ранее не опубликованные. Эту идею она много обсуждала с мужем – Леонардом Вулфом, который и издал в 1941 году – уже после ее смерти – сборник из восемнадцати рассказов «Дом с привидениями».

Сюжеты своих рассказов Вулф строит как наблюдения за людьми, явлениями или ситуациями. И эти наблюдения порождают размышления, фиксируют в словах состояния, мысли и поиск истины.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Вирджиния Вулф

Дом с привидениями

© Перевод. Д. Аграчев, 2021

© Перевод. Л. Беспалова, 2021

© Перевод. М. Лорие, наследники, 2021

© Перевод. А. Попов, 2021

© Перевод. Е. Суриц, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2022

Дом с привидениями

В какой час ни проснись, первое, что ты слышал, – звук захлопнувшейся двери. Из комнаты в комнату шли они, рука об руку, поднимая тут, открывая там, проверяя – пара призраков.

«Вот, здесь же оставили», – говорила она. «Ой, и тут тоже», – откликнулся он. «Наверху», – пробормотала она. «И в саду», – прошептал он. «Тихо, – сказали в унисон, – не то мы их разбудим».

Но это не вы разбудили нас, о нет. «Ищут, отдернули занавеску, – скажет кто-то и прочтет еще пару страниц. – Вот, теперь нашли», – уверенно кивнет и остановит карандаш на полях. А потом, устав от чтения, поднимется, чтобы пойти и убедиться воочию: дом пуст, двери распахнуты, слышно только довольное воркование голубей да звук работающей на ферме молотилки. «Зачем я здесь? Что я ищу?» Руки пусты. «Может, все-таки наверху?» На чердаке яблоки. Так что снова вниз. Сад, как всегда, неподвижен, и только книга соскользнула в траву.

Но в гостиной они наконец-то это нашли. Хотя никто и никогда их не видел. В окне отражались яблоны, отражались розы, сквозь стекло все листья казались зелеными. Если они были в гостиной, яблоко поворачивалось желтым боком. Но всего через мгновение, если дверь открыта, что-то развешено по стенам, расстелено по полу и маятником свисает с потолка – но что это? Руки пусты. По ковру пронеслась тень дрозда; из глубин тишины всплывает булькающее воркование голубя. «Здесь, здесь, здесь», – мягко пульсирует весь дом. «Сокровище надежно спрятано; комната...» – пульсация резко оборвалась. Значит, тут спрятано сокровище?

В следующее мгновение свет померк. Снова в сад? Но деревья ткнут сети тьмы и ловят заблудившийся лучик солнца. Такой тонкий, такой редкий, тихо погружившийся в глубину, лучик, что звал меня, вечно горел за стеклом. Смерть была стеклом; смерть стояла между нами; забрала сначала женщину, сотни лет назад, оставляя дом, запечатывая окна; погружая комнаты во тьму. Он покинул дом, покинул ее, отправился на север, на восток, видел перевернутые созвездия в южном небе, искал дом, нашел его – вернувшись. «Здесь, здесь, здесь, – радостно забило сердце дома. – Сокровище – твое».

Ветер проносится по аллее. Деревья гнутся и раскачиваются туда-сюда. Лунный свет плещется в каплях дождя. Но из окна тянется путеводный лучик фонаря. Свеча горит ровно и неподвижно. Бродят по дому, открывают окна, шепчутся, чтобы не разбудить нас – пара призраков в поисках своего счастья.

«Здесь мы спали», – говорит она. «Бесчисленные поцелуи», – эхом откликается он. «Проснувшись с утра...», «Серебро меж ветвей...», «Наверх...», «В сад...», «Когда наступило лето...», «Когда выпал снег...». В отдалении хлопают двери, по очереди, ритмично, словно бьется сердце.

Они приближаются, замирают в дверях. Ветер стихает, серебро дождя течет по стеклу. В глазах темнеет; но рядом не слышно шагов; не видно женщины, простирающей свой призрачный плащ. Его руки заслоняют свечу. «Смотри, – шепчет он. – Крепко уснули. С любовью на устах».

Склонившись, высоко подняв над нами серебряный фонарь, смотрят они долго и пристально. Надолго замирают. Тянет сквозняком, пламя свечи клонится. Лучи лунного света пугливо мечутся по полу и стенам, скользят по склонившимся лицам, задумчивым лицам, которые изучают спящих, ищут свою сокрытую радость.

«Здесь, здесь, здесь», – сердце дома бьется гордо. «Столько лет», – вздыхает он. «И ты снова меня нашел». «Здесь, – бормочет она. – Во сне; читая в саду; смеясь, перекатывая яблоки по чердаку. Здесь мы оставили наше сокровище». Склонились. Свет их фонаря проникает сквозь веки. «Здесь, здесь, здесь», – пульсация оглушает. Просыпаюсь с криком: «Так это ваше – спрятанное сокровище? Свет в сердце».

Понедельник иль вторник

Лениво и безразлично, легко стряхивая пространство с крыльев, уверенно пролетает цапля в небе над собором. Бледное и далекое, замкнутое в себе, бесконечное небо одновременно скрывает и открывает, движется и остается недвижимым. Озеро? Затенить берега! Гора? О, великолепно – позолотить склоны солнцем, залить водопадами. Папоротники или белые перья, дальше, дальше, покуда хватается глаз...

Стремясь к истине, ожидая ее, тщательно выцеживая редкие слова, вечно стремясь – (Слева слышится крик, потом другой – справа. Колеса идут вразнобой. Омнибусы сталкиваются.) – вечно стремясь – (Двенадцатью четкими ударами часы безапелляционно объявляют полдень; свет роняет золотую чешую; толпятся дети.) – всегда стремясь к истине. Пламенеет купол; монеты-листья на деревьях; дым из труб; лай; возглас; выкрик: «Купите уют» – а истина?

Всюду мужские ноги и женские, черные или позолоченные – (Ну, и туман. – Сахару? – Нет, спасибо. – Содружество будущего.) – отсветы огня пляшут на стенах, окрашивают комнату в красный, но ничего не могут сделать с темными фигурами и блестящими глазами, пока снаружи разгружается фургон, мисс Тингамми пьет чай за конторкой, а зеркальная витрина хранит шубы...

Щегольски, невесомо скользит по углам и между колес, в брызгах серебра, дома иль нет, собрано разрозненно, разлетевшись на чешуйки, вверх и вниз, вместе и врозь, объединяясь – истина?

Пора вспоминать у камина, глядя на квадрат белого мрамора. Из белоснежных глубин поднимаются слова, теряя черноту, распускаются и проникают. Книга упала; в пламени, в дыму, в мгновенной россыпи искр – иль сейчас в странствиях, мраморный квадрат, минареты, скрытые водами восточных морей, подвижная синева и мерцание звезд – истина? или довольствоваться приближением к ней?

Лениво и безразлично цапля летит обратно; небо скрывает звезды, потом обнажает.

Ненаписанный роман

Вид у нее до того несчастный, что его одного достаточно, чтобы перевести взгляд с газеты на лицо этой бедняги – решительно ничем не примечательное, не будь оно до того несчастным, а так – чуть ли не символ удела человеческого. Жизнь – то, что видишь в глазах людей; жизнь – то, что они узнают, а раз узнав, как ни тщись они скрыть, им никогда не забыть – чего? Скорее всего того, что жизнь есть жизнь. Пять лиц напротив – пять взрослых лиц, – и какой опыт стоит за каждым! И все стремятся утаить его – вот ведь что удивительно. На всех лицах меты сдержанности; губы сжаты, глаза прикрыты, все силится утаить или умалить свой опыт. Один курит; другой читает; третий проверяет записи в блокноте; четвертый изучает карту железной дороги на противоположной стене, а пятая, пятая ничего не делает – вот в чем весь ужас. Она смотрит на жизнь. Бедняга моя незадачливая, не нарушай условий игры – ну, пожалуйста, ради всех нас, таись!

Словно услышав меня, она подняла глаза, заерзала, вздохнула. Казалось, она разом и просит у меня прощения, и говорит: «Знали бы вы». И снова стала смотреть на жизнь. «А я знаю, – без слов ответила я, приличия ради опустив глаза в «Таймс». – Знаю все. «Вчера в Париже подписан мирный договор между Германией и державами Антанты... Синьор Нитти, итальянский премьер-министр... В Донкастере произошло столкновение пассажирского поезда с товарным...» Все мы знаем – «Таймс» знает, но прикидываемся, будто не знаем». Взгляд мой опять скользнул поверх газеты. Она передернулась, вывернув руку,

почесала между лопатками и покачала головой. И вновь я окунулась в великий источник жизни. «Что ни возьми, – продолжала я, – рождения, смерти, браки, придворную хронику, привычки птиц, Леонардо да Винчи, Сандхилльское убийство, большие оклады, стоимость жизни, да что ни возьми, – повторила я, – в «Таймс» найдешь все». И вновь она бесконечно утомленно закачала головой из стороны в сторону, пока голова ее не замерла, точно юла, которой надоело вращаться.

От такого горя, как ее, «Таймс» не защититься. Но при других не очень-то поговоришь. Чтобы оградиться от жизни, лучше всего сложить газету аккуратным квадратиком, хрустящим, плотным – такой даже жизни не одолеть. Покончив с этим, я подняла глаза: теперь я в безопасности – вот мой заслон. Заслон не помог; она пронзила меня взглядом так, словно выискивала в моих глазах хоть крупицу мужества, с тем чтобы обратить ее в прах. Одна ее чесотка чего стоила – она развеивала все надежды, рассеивала все иллюзии.

И так мы с грохотом промчались по Суррею и пересекли границу Суссекса. Изучая жизнь, я не заметила, как остальные пассажиры вышли один за другим и мы – если не считать мужчины, читавшего газету, – остались одни в купе. А вот и станция Три Моста. Поезд пополз вдоль платформы и остановился. Выйдет ли здесь наш попутчик? Я сама не знала, о чем молить, – и в конце концов помолилась, чтобы он остался. И в ту же секунду он поднялся, небрежно скомкал газету, явно отслужившую свою службу, распахнул дверь настезь и оставил нас наедине.

Бедняга наклонилась ко мне и завела тусклый, бесцветный разговор о том, какие станции мы проезжаем, как она отдыхала, о своих братьях в Истборне, о том, что зима в этом году – теперь уж не припомню – то ли ранняя, то ли поздняя. И наконец, выглянув в окно – но что она могла там увидеть? – только жизнь, – шепнула: «Уезжать из дому – хуже нет». Вот оно, сейчас выясним, что ее терзает! «Моя невестка, – горечь в ее голосе едкая, как лимон, – и, обратясь не ко мне, сама к себе, пробормотала: – Ей что ни скажи, говорит «ерунда», и они за ней вслед», – а меж тем она ежилась так, словно у нее спина в мурашках, как кожа у ошипанной курицы в витрине мясной лавки.

– Ну и корова! – судорожно прервалась она – можно было подумать, будто огромная тупая корова, пасущаяся на лугу, напугав ее, спасла от излишней откровенности. Дальше она передернулась, а дальше так же неловко, как и прежде, вывернула руку, словно у нее пекло или зудело между лопатками. И

вновь мне показалось, что несчастнее ее нет женщины на свете, и вновь я попрекнула ее, хоть и без прежней убежденности: ведь будь ее несчастья не беспричинны и будь их причины мне известны, тогда ее нельзя осуждать.

- Невестки, они... - начала я.

Губы ее сжались, словно готовясь изрыгнуть хулу; и так и не разжались. Она лишь сняла перчатки и стала стирать грязь с окна. Терла с сердцем, будто хотела стереть навек, но что - пятно, заразу? И тем не менее, как она ни терла, пятно не поддавалось, и она откинулась назад, и вновь ее передернуло, и вновь рука ее потянулась к спине, оправдывая мои ожидания. Бог знает, что заставило меня снять перчатку и в свою очередь приняться тереть мое окно. Оно тоже было в одном месте запачкано. Но как я ни терла, грязь не сходила. И тут меня тоже передернуло; я потянулась рукой к спине. Ощущение было такое, будто кожа у меня отсырела, как у ошипанного цыпленка в витрине мясной лавки; между лопатками зудело, свербело, мокло, саднило. Достанет ли дотуда моя рука? Я украдкой вытянула руку. Она заметила это. По лицу ее мелькнула улыбка и скрылась - и какая насмешка, какая жалость просквозила в ней! Но она выдала, открыла свою тайну, заразилась своей заразой; к чему теперь слова? Я откинулась на спинку в своем углу, заслонилась от нее, и, видя перед собой лишь холмы и лощины, серые и лиловые краски зимы, я разглядывала ее, проникала в ее тайну, проникала под ее нацеленным на меня взглядом.

Хильда зовут невестку? Хильда? Хильда Марш - Хильда, она цветущая, пышногрудая, степенная. Хильда встречает такси на пороге, держит деньги наготове. «Бедняжка Минни, до чего высохла, щепка щепкой, и плащ с прошлого года еще обносился. Но при двух-то детях больше от себя не оторвешь. Не надо, Минни, я приготовила; держите... не на ту напали, водитель. Проходи, Минни. Да я б и тебя внесла, не то что твою корзину. - И они проходят в столовую. - А вот и тетя Минни, дети».

Кулаки с зажатыми в них ножами и вилками медленно опускаются. Они (Боб и Барбара) сползают со стульев, чинно тянут руки и опять заползают на стулья; куснут и таращатся, куснут и таращатся. [Но мы пройдем мимо; мимо безделушек, фарфорового блюда в листиках клевера, желтых прямоугольников сыра, белых квадратиков печенья - мимо, впрочем, нет, погодите-ка! Посреди обеда она вновь передергивается; Боб, так и не вынув ложки изо рта, таращится на нее. «Скорей доедай свой пудинг, Боб»; и все же Хильда недовольна: «И чего бы ей корезиться?» Мимо, мимо, напрямиком к лестнице наверх; ступеньки обиты

медью; линолеум исшаркан; и вот наконец – спальня с видом на исторические крыши – зигзагами, как гусеницы, бегущие туда-сюда полосы красного, желтого, покрытые иссиня-черным шифером.] Ну вот, Минни, дверь заперта; Хильда, грузно ступая, спустилась в подвал; а ты отстегиваешь ремни на корзине, раскладываешь на кровати жалкую ночную рубашку, ставишь рядом войлочные тапочки с меховой опушкой. Зеркало – нет, ты не смотришься в зеркало. Аккуратно откалываешь булавки от шляпы. А вот и ракушечная шкатулка, интересно, что в ней? Ты трясешь ее; жемчужная запонка, та же, что в прошлом году, – только и всего. Дальше чихаешь, вздыхаешь, садишься у окна. Три часа дня, на дворе декабрь; сеется дождик; один огонек светится совсем низко под стеклянной крышей большого галантерейного магазина; другой повыше, в комнатухе прислуги – этот, второй, гаснет. Смотреть больше не на что. Минутный пробел – о чем ты думаешь дальше? (Дай-ка гляну на скамью напротив; она дремлет, а может быть, и прикидывается; так вот, о чем бы она могла думать, сидя у окна в три часа дня? О здоровье, о деньгах, о горах, о Боге?) Да, да, примостившись на краешке стула, Минни глядит вверх исторических крыш и молится Богу. Вот и отлично, и еще она может протереть стекло, чтобы лучше видеть Бога, только какого Бога она видит? И кто Бог Минни Марш, Бог исторических задворков, Бог трех часов пополудни? Крыши я тоже вижу, вижу и небо, но вот узреть Бога! Скорее походит на президента Крюгера, чем на принца Альберта, – ничего лучше я не могу предложить; я вижу – вот он сидит на стуле в черном сюртуке и не так уж высоко; облако-другое я, пожалуй, могу расстараться – нужно же ему на чем-то восседать; дальше в руке его, возлежащей на облаках, появляется жезл – или это дубинка? – черная, толстенная, шишковатая, он нравный старый самодур, Бог Минни Марш! Не он ли наслал на нее зудеж и свербеж невтерпеж? Следы греха, вот что она стирает с окна. Ну конечно, на ее совести преступление!

Преступлений так много – только выбирай. Мчатся, мелькают леса – летом здесь заливаются колокольчики; придет весна, и там, в прогале, запестреют примулы. Здесь – верно? – они расстались двадцать лет назад. Нарушенный обет? Нет, это не для Минни!.. Минни – верная душа! Как она заботилась о матери! Все свои сбережения спустила на надгробье... венки под стеклянными колпаками... нарциссы в кувшинах. Но я отвлеклась. Преступление... Они сказали бы, что она затаила горе, загнала вглубь свою тайну – тайну пола, так сказали бы они, ученые мужи. Но что за вздор взваливать на нее еще и проблемы пола! Нет... скорее так. Двадцать лет тому назад, когда она шла по кройдонским улицам, блеснув в электрическом свете, лиловые ленты за зеркальным стеклом галантерейной лавки приковали ее взгляд. Она замешкалась у витрины – уже седьмой час. Если припустить побыстрее, можно еще поспеть домой.

Протиснулась в крутящуюся дверь. Торговля в разгаре. На лотках пенятся ленты. Она замирает, тянет к себе эту, щупает ту, с тисненными выпуклыми розами. Не надо выбирать, не надо покупать, и каждый лоток таит в себе новые соблазны. «Мы закрываем только в семь», – уже семь. Она бежит, летит, спешит, и вот она дома – слишком поздно! Соседи – врач – братишка – чайник – ошпарился – больница – умер – или только испуг и раскаяние? Ах, да не важны мне подробности! Важно то, что теперь ей не избыть пятна, греха, вечной вины – вот она, между лопатками! «Да, похоже, – подтверждает она кивком, – так все и было».

Было или не было, и что было, какое мне дело; не в том суть. Лиловые ленты в лавке галантерейщика – этого достаточно; пусть пустяковое, пусть избитое, хоть преступлений так много – только выбирай, но большинство (дай-ка я еще раз брошу взгляд на скамейку напротив – все еще дремлет, а может быть, и прикидывается! В лице ни кровинки, исчахшая, губы сжаты – видно, упрямая, вот чего никак не ожидала! – какие уж тут тайны пола!), большинство из них не твои преступления; твое преступление пустяковое, только воздаяние серьезное; и вот открываются церковные ворота, жесткая деревянная скамья принимает ее; она преклоняет колена на темных плитах – ежедневно, зимой, летом, в сумерках, на заре (она и сейчас здесь) она молится. И грехи ее падают, падают, падают. И все – на пятно. Оно вспухло, оно пламенеет, оно пылает. И тут она передергивается. Мальчуганы тычут в нее пальцами. «Вот и Боб сегодня за обедом...» Но хуже нет пожилых женщин.

Ты и впрямь не можешь больше молиться – пора идти. Крюгер ушел под облака – его смыло, будто по нему прошлась кисть с серой краской, к которой примешали чуточку черного, – даже краешек дубинки пропал из виду. И всегда так! Стоит только узреть его, ощутить его присутствие – и тут же кто-то вторгается. На этот раз Хильда.

Как она тебе ненавистна! До чего дошла – ванную с вечера запирает, а тебе и всего-то нужно ополоснуться холодной водой; когда всю ночь проворочаешься без сна, – кажется, ополоснешься, и чуть полегче станет. А за завтраком Джон и дети туда же – хуже всего за столом – а то еще и гости – и за папоротниками не утаиться от взглядов, – они тоже обо всем догадываются; и ты уходишь, бредешь по набережной – море катит серые волны, ветер гоняет бумажки, под зелеными стеклянными навесами гуляют сквозняки, за стулья берут по два пенса – экая дороговизна! – а то можно бы послушать проповедников. А вон негр... а вон тот какой – просто умора!.. а вон человек с попугаями – жалостные

какие!.. Неужто здесь нет никого, кто бы думал о Боге? – ведь вот он прямехонько над пирсом, и жезл в руке, – но нет – небо сплошь серое, а если и проглянет синева, белые облака тут же скроют его лик, и музыка – военный оркестр, – что это они тут удят? И улов бывает? А дети-то, дети глядят во все глаза! Ну что ж, а теперь домой задами... «Домой задами». В словах есть смысл; их мог произнести и тот старик с бородой – да нет, по правде говоря, он ничего не сказал; но смысл есть во всем; прислоненные к дверям плакаты – вывески над витринами – краснощекие яблоки в корзинах – женские головки за окнами парикмахерской – все говорят: «Минни Марш». И вдруг заело: «Яйца подешевели». И всегда так. Я вела ее к водопаду, прямой дорогой к умопомрачению, а она, как стадо овец, примерещившихся во сне, поворачивает, проскальзывает между пальцами. Яйца подешевели. Преступления, несчастья, восторги ли, помешательства ли не для Минни Марш – она прочно прикована цепями к земле; ни разу не опоздала к обеду; ни разу дождь не застиг ее врасплох без плаща; ни разу не смогла забыть о том, что яйца подешевели. И вот она уже дома – вытирает ноги у дверей.

Правильно ли я тебя разгадала? Но человеческое лицо – человеческое лицо над убористой газетной страницей больше содержит, больше удерживает. Теперь глаза ее открыты, взгляд нацелен; а человеческий взгляд, – как бы точнее определить? – он отрывает, отъединяет – стоит притронуться к стебельку, и мотылек вспорхнул – мотылек, что вечерами парит над желтым цветком; вскинешь, поднимешь руку, и он уже вспорхнул, воспарил, взмыл. Не подниму я руки. Пари, так уж и быть, порхай, жизнь, душа, дух – как тебя ни именовать – Минни Марш, – и я над своим цветком – и ястреб над зарей – всегда одиноко, иначе чего стоит наша жизнь? Взлететь; парить вечером, парить днем; парить над зарей. Мановение руки – взмыл, взлетел! И снова сел. Одинокий, никому не видимый; но видящий все – а под ним такой покой и такая красота! Ничего не видеть – ничего не чувствовать. Глаза других – наши узилища; их мысли – наши клетки. Воздух над тобой; воздух под тобой. И луна, и бессмертие... Ой, но я плюхаюсь с неба на землю. И ты в своем углу, ты тоже плюхнулась на землю, как там тебя – женщина – Минни Марш; тебя, кажется, так зовут? Вот она, вцепилась в свой цветок; открыла сумку, вынула из нее скорлупу – яйцо, – кто это сказал, что яйца подешевели? Ты или я? Ну да, это ты сказала по дороге домой, помнишь, тогда еще старик открыл зонтик – или он чихнул? Как бы там ни было, Крюгер скрылся, и ты пошла «домой задами» и вытирала ноги у дверей. Вот именно. А теперь ты расстелила на коленях носовой платок и роняешь в него зазубренные куски скорлупы – клочки карты – головоломка. Жаль, что я не могу ее составить! Если б только ты посидела смирно. Сдвинула колени – карта вновь распалась. Вниз по отрогам Анд несутся, рушатся беломраморные глыбы,

сминают, сметают на своем пути полчища испанцев-погонщиков, караван мулов – добычу Дрейка, золото и серебро. Но вернемся же...

К чему, куда? Она открыла дверь, поставила зонтик в стойку, это само собой разумеется; так же, как и запах жаркого, доносящийся из подвала; точка, точка, точка. Но что мне не под силу избыть, что я должна, пригнув голову, закрыв глаза, с бесстрашием бойца и бешенством быка разогнать, расточить – это, конечно же, тех людей за папоротниками, разъезжих торговцев. Я прятала их там все это время, надеясь, что они каким-то образом сгинут или еще того лучше возникнут, – иначе и быть не должно, если мое повествование обретет полноту и плавность, судьбу и трагедию, как и положено повествованиям, и в движении своем увлечет за собой парочку, а то и тройку разъезжих торговцев и частокोल тещина языка. «За зелеными штыками тещина языка почти не видно было разъезжего торговца». За рододендронами его и вовсе не было бы видно, а заодно порадовали бы и меня; красное и белое – вот к чему меня тянет, вот к чему манит; но рододендроны в Истборне – в декабре – на столе Маршей, нет, нет, рука не поднимается; им больше подходят снетки и судки, пампушки и папоротники. Может быть, попозже, у моря, выберется еще минутка. Более того, меня разбирает желание, проникнув за сквозную зелень и грани хрусталя, рассмотреть, разглядеть мужчину напротив – всего одного, дай Бог мне с ним справиться! Ведь это Джеймс Могридж, Марши его еще зовут Джимми? [Минни, послушай, не дергайся, пока я с ним разберусь.] Джеймс Могридж торгует, погодите-ка, пуговицами – но для них время еще не пришло, – крупные и мелкие, на длинных картонках, одни яркие, как павлиний хвост, другие тускло-золотые; одни из горного хрусталя, другие коралловые – но я же сказала, их время еще не пришло. Он разъезжий торговец и по четвергам наведывается в Истборн и обедает у Маршей. Багровое лицо, жесткий взгляд маленьких глазок – и совсем заурядным его никак не назовешь, вот уж нет – зверский аппетит (так оно надежнее; он глаз не поднимет на Минни, пока не подберет хлебом весь соус), салфетку засунул углом за ворот – но это слишком примитивно, может, читатель такое и любит, мне это не по вкусу. Давайте-ка перескочим к Могриджевым домочадцам, пустим их в дело. Так вот, по воскресеньям Джеймс самолично чинит башмаки всей семье. Он читает «Истину». Чем же он увлекается? Розами – а жена, она бывшая сестра милосердия – очень интересно – ради всего святого, дайте я хотя бы одну женщину назову как мне нравится! Но не тут-то было, она из числа неродившихся детищ ума, незаконнорожденных, но от того не менее любимых, как и мои рододендроны. И сколько их погибает в каждом дописанном до конца романе, лучших, любимейших, несть им числа, – а Могридж живет себе и живет. Тут жизнь дала маху. Вот она, Минни, ест свое яйцо на скамейке напротив, а на другом конце железнодорожной ветки, – мы

уже миновали Льюис? – там должен быть Джимми... и чего она корежится?

Там должен быть Могридж – промах жизни. Жизнь диктует свои законы; жизнь преграждает путь; жизнь за папоротником; жизнь – тиранка; что есть, то есть, но не самодурка! Нет, нет, поверьте, я пришла к нему по доброй воле; бог ведь какая сила повлекла меня к нему через папоротники и судки, замызганный стол и захватанные бутылки. Пришла, потому что меня потянуло приткнуться на упругой плоти, на крепком хребте – где угодно, лишь бы угнездиться на теле, в душе Могриджа-мужа. Как ладно он скроен; хребет – гибкий, как китовый ус, стройный, как тополь; ребра – раскидистые ветви; кожа – туго натянутый парус; красные складки щек; сердце – мощный насос; а тем временем сверху валится темными кусищами мясо, низвергается пиво, дабы вновь всосаться в кровь, – а вот наконец и глаза. Они видят нечто за частоколом тещина языка; черно-белое, унылое; и опять уставились в тарелку; за тещиным языком они видят пожилую женщину; «сестра Марша, до Хильды ей далеко»; теперь – на скатерть. «Марш знает, что стряслось у Моррисов»... Обсудить всласть; а вот и сыр; и опять в тарелку; повернул ее – ручищи-то какие; теперь – на женщину напротив. «Сестра Марша; на брата ни капельки не похожа; жалкая, пожилая тетка... Кур надо кормить как следует... Господи ты Боже, и с чего это она дергается? Я что-то не так сказал? Горе, просто горе с этими пожилыми тетками... Горе! Горе!..»

[Да, Минни; я знаю, ты дернулась, но погоди минутку – прежде Джеймс Могридж.]

Горе, горе, горе! Какие слова, какой звук! Как стук молотка по сухой доске, как биение сердца ретивого китобоя, когда волна бьет за волной и зелень вод мутна... «Горе, горе!» – это похоронный звон по страждущим душам – успокоить их, упокоить, обрядить в саван со словами: «Прощай! Будь счастлив!» И тут же: «А чего угодно вам?» – и хотя Могридж и сорвет еще для нее розу в своем садике – возврата нет и быть не может. Что же дальше? «Сударыня, вы опоздаете на поезд», – ведь они не мешкают.

Вот как заведено у людей; вот какие слова будят отклик; а вот и Святой Павел, и автомобили. Но мы смахиваем крошки. Ой, Могридж, посидите еще! Вам уже пора? Это вы катите по Истборну в коляске? Это вы тот человек за бастионами зеленых картонок, он еще восседает так величаво, и взгляд у него – ну сфинкс сфинксом, и весь он какой-то замогильный, и вид его наводит на мысли о похоронных дел мастерах и гробе, а лошадь и кучер впереди теряются в сумерках? Скажите, пожалуйста – но захлопнулись дверцы. Никогда больше нам

не встретиться. Могридж, прощай!

Да, иду-иду. Прямо наверх. Разве что минутку помешкаю. Какая мусть поднялась в голове, в какие водовороты затягивают эти монстры – бушуют волны, раскачиваются водоросли – зеленые тут, черные там, – бьются о песок, но мало-помалу все возвращается на свои места, осадок сам собой просеивается, и покой, прозрачность открываются глазу, и уста творят молитву по душам погибших, тризну по тем, с кем нам никогда больше не встретиться.

Джеймс Могридж отошел, преставился. Что там у тебя, Минни, – «Мочи моей нет терпеть». Если она так сказала (Дай-ка гляну на нее. Она смахивает яичную скорлупу – скорлупа летит вниз по отвесным откосам)! Сомнений нет, так она и сказала, когда, привалясь к стене, пощипывала бомбошки, окаймляющие бордовые портьеры в спальне. Но когда сам говоришь с собой, кто тогда говорит? – погребенная душа, дух, загоняемый все глубже и глубже в глубь самого главного подземелья; то самое я, которое приняло схиму, отринуло свет – трусливо, говоришь? – зато как оно прекрасно, когда, помахивая фонарем, неустанно носится ввысь-вниз по сумрачным ходам. «Нет больше сил моих, – говорит дух. – И этот тип за обедом – и Хильда – и дети туда же». Боже, как она рыдает! Это дух оплакивает свой удел, мятущийся дух, – он жаждет приткнуться на коврах, которые с каждым днем садятся все сильнее и сильнее, скукоживающихся, уходящих из-под ног клочках вселенной, где в небытие уходит все: любовь, жизнь, вера, муж, дети, и кто знает, какие лепота и красота, поблаздившиеся некогда отроковице: «Не для меня... не для меня».

Что же остается – пышки, облезлый старый пес? Бисерные салфеточки, думается мне, и единственная прихоть – нижнее белье. Если бы Минни Марш переехала машина и ее увезли в больницу, даже сестры и доктора и те бы подивились... Тут тебе и перспектива, тут тебе и прозрение, тут тебе и даль – а в ней темная точка в самом конце улицы, зато пока, пока чай благоухает, и пышка с пылу-жару, и пес – «Бенни, иди на место, мальчик, смотри, что тебе мама принесла!». И, взяв перчатку с продырявленным пальцем, ты вновь вызываешь на бой вечно расширяющего свои пределы демона, демона прорех, вновь возводишь крепостные стены, водишь иголкой с серой шерстяной нитью туда-сюда, туда-сюда.

Туда-сюда, взад-вперед – ткешь паутину, которую и самому Господу Богу – тсс, не думать о Боге! Какая прочная штопка! Не штопка, а загляденье! Пусть ничто не тревожит ее, пусть мягко струится свет и облака высвечивают зелень первой

наклюнувшейся почки. Пусть воробей, опустившись на ветку, срывает повисшую на ней дождевую каплю... Почему ты подняла глаза? Что причиной? Звук, мысль? Господи! Вновь возвращаемся вспять к твоему проступку, к лиловой ленте за зеркальным стеклом? Но вот идет Хильда! Унижения, поношения – ой-ой! Заделаем брешь!

Заштопав перчатку, Минни Марш прячет ее в ящик. Решительным жестом задвигает его. Я вижу ее отражение в зеркале. Губы стиснуты. Подбородок задран. Она принимается шнуровать ботинки. Дальше – подносит руку к шее. Что изображает ее брошь? Омелу или крылышки? И что вообще тут творится? Если я не попала пальцем в небо – пульс у тебя участился, приближается решительный момент, нити скрещиваются, впереди – Ниагара. Сейчас или никогда! Господи, спаси тебя и помилуй! Вперед! Мужайся! Не отступай, смелей! Она уже на пороге – не давай ей садиться на шею! Открывай дверь! Я с тобой заодно! Начни первая! Потягайся с ней силами, чтоб ей пусто было...

– Ой, извините. Да, это Истборн. Сейчас я помогу вам снять ее. Дайте-ка попробую за ручку. [И все же, Минни, хоть мы и не показываем вида, я тебя разгадала – теперь ты мне ясна.]

– Это весь ваш багаж?

– Уж не знаю, как вас благодарить.

(И все же почему ты озираешься? Хильда не придет встречать тебя, и Джон не придет, и Могридж мчит сейчас где-то по ту сторону Истборна.)

– Вы уж извините, лучше я подожду у своего саквояжа, так оно надежнее. Он пообещался меня встретить. А вон и он. Мой сынок.

И они удаляются вместе.

Ну и ну, чтоб мне пусто... Вот уж, Минни, чего не ожидала, того не ожидала! Станный юнец... погоди! Я ему скажу – Минни! – Мисс Марш! – Хотя кто его знает. Вот и плащ у нее как-то подозрительно топорщится. Да нет, быть того не может, это никуда не годится!.. Смотри, как он к ней наклонился, когда они подошли к контролеру. Она отыскала свой билет. В чем тут дело? И они уходят прочь, вдаль – рука об руку... Вот так так, мой мир рушится. На чем стою? Что

знаю? Это вовсе не Минни. И не было никогда никакого Могриджа. И кто такая я сама? И жизнь пуста – хоть покати шаром!

И все же последний взгляд на них – они сходят с тротуара, она огибает большое здание следом за ним – преисполняет меня восторгом – меня захлестывает вновь. Загадочные незнакомцы! Мать и сын. Кто вы такие? Почему идете по улице? Где будете спать сегодня, где завтра? Ой, как крутит, бурлит – меня сносит наново! Я пускаюсь вслед за ними. Машины снуют туда-сюда. Брызжет, льется яркий свет. Зеркальные стекла витрин. Гвоздики; хризантемы. Плющ в сумрачных садах. Тележки молочников у дверей. Куда б я ни шла, я вижу вас, загадочные незнакомцы, вижу, как вы заворачиваете за угол, матери и сыновья; вы, вы, вы. Я прибавляю шаг, иду следом за вами. А это, думается мне, море. Пейзаж сер; тускл, как зола; шелестят и шепчут волны. Если б я преклоняла колена, если б соблюдала обряды, эти древние причуды, только вас, незнакомые мне люди, – вас бы я обожествляла; если б я распахнула объятия, только тебя заключила б я в них, тебя привлекла к груди – обожаемый мир!

Струнный квартет

Ну вот мы и собрались, и стоит вам окинуть взглядом зал, вы сразу убедитесь, что метро и трамваи, а отчасти и собственные экипажи, даже, смею думать, запряженные рысачами ландо из конца в конец прошивали для этого Лондон. И все же меня вдруг одолевает сомненье...

Если и в самом деле правда, как тут говорят, что по Риджент-стрит закрыт проезд, и подписан мир, и не так уж холодно для такого времени года, и за такую цену и то не снимешь квартиру, и в гриппе самое опасное – осложнения; если я спохватываюсь, что забыла написать насчет течи в леднике и посеяла перчатку в поезде; если кровные корни вынуждают меня истово трясти руку, протянутую, быть может, не без колебаний...

– Семь лет не видеться!

– С самой Венеции.

- И где же вы теперь обретаетесь?

- Что ж, вечером мне вполне удобно, хотя, может быть, это слишком нагло с моей стороны...

- Но вы несколько не переменились!

- Что ни говори, война есть война...

Если разум пробивают такие легкие стрелы и – по законам человеческого общежития – едва выпущена одна, уже наготове другая; если из-за этого кидает в жар, и вдобавок полыхает электричество; если чуть не каждое слово тянет, как водится, поправки, расшаркиванья и оговорки, расшевеливает желания, амбиции и тоску, – если все так, и плывут на поверхность шляпки, боа, фраки и жемчуг на галстуках, – неужто же мыслимо?

Что именно? В том-то и закавыка, что с каждой минутой труднее сказать, отчего, вопреки всему, я тут сижу, не умея даже припомнить, что именно и когда в последний раз это испытано мной.

- Процессию видели?

- Король, кажется, замерз.

Нет, нет и нет. Да, но что именно?

- Она дом купила в Мамзбери.

- Можно ее поздравить.

Мне же, напротив, совершенно очевидно сдается, что ее, кто она ни на есть, можно послать с легким сердцем к чертям, со всеми квартирами, шляпками, чайками, и так, быть может, сдается сотне дам и господ, которые тут сидят, парадные, защищенные оградой мехов, жемчугов и довольства. Ну а я-то сама тоже мирно сижу в золоченом кресле и раскапываю погребенное прошлое, как все, ибо, судя по неким знакам, все мы, если я не обманываюсь, что-то силится

вспомнить, что-то исподволь ищем. И к чему суетиться? Беспокоиться о покрое костюма? О перчатках – застегнуть или нет? И вглядываться в это пожилое лицо на темном фоне картины: лишь минуту назад оно было оживленное, светское, а сейчас вот печальное, замкнутое, словно подернулось тенью. За стеной настраивают вторую скрипку – не правда ли? Выходят; четыре черные фигуры, с инструментами, усаживаются подле белых квадратов под световой ливень; покоят смычки на пюпитрах; дружный взмах, трепетанье, и, глядя на музыканта напротив, первая скрипка отсчитывает – и раз, и два, и три...

Вихрь, шквал, напор, взрыв! Грушевое дерево наверху горы. Бьют фонтаны; сыплются капли. А волны Роны мчат глубоко и полно, летят под мостами, разметывая пряди водорослей, полощут тени над рыбой, серебряной рябью бегущей ко дну, затянутой – это трудное место, – засасываемой водоворотом; плеск, брызги, ранят воду острые плавники: поток дымится, кипит, сбивает желтую гальку, крутит, крутит, вот отпустил, падает, падает, вниз, вниз, но нет, взвивается кверху нежной спиралькой; тонкой стружкой, как из-под самолета; выше, выше... Сто раз прекрасны добрые, веселыми шагами, с улыбкой идущие по земле; и шалые, бывалые рыбаки, присевшие под мостками, греховодницы, как дивно гогочут они, и галдят, и ступают враскачку, враскачку... аа-ах, гм, кха!

– Ранний Моцарт, конечно...

– Да, но мелодия, как все его мелодии вообще, приводит в отчаяние, я хочу сказать, вселяет надежду... Да, так что я хочу сказать? Вот ведь ужас с этой музыкой! Тянет, знаете, танцевать, смеяться, есть пирожные, есть мороженое, пить сухое, терпкое вино. Непристойный анекдот, между нами, тоже был бы очень кстати. Чем старше делаешься, тем больше любишь непристойности. Ха-ха. Вот мне смешно. Ну отчего? Вы ведь ничего такого не сказали, да и тот старый господин... Но позвольте... Шшш!

Нас несет дальше грустная река. Луна заглянула под вислые ветви ивы, и я вижу лицо твое, я слышу твой голос, и птица поет, когда мы проходим под ветлами. Что ты шепчешь? Печаль, печаль. Радость, радость. Сплетенные, как блестящие под луной камыши. Сплетенные, неотторжимо сращенные, стянутые болью, обтянутые грустью – тррах!

Лодка тонет. Тона распрямились, взмывают, истончаются, становятся мутным призраком, и призрак огненным острием рвет сдвоенную свою страсть из моего сердца. Для меня поет он, распечатывает мою печаль, растопляет жалость,

затопляя любовью бессолнечный мир, и не сбавляет, не унимает нежности, но ловко, тонко плетет свою вязь, плетет, пока расколотые надвое не срастутся; взлет, всхлип и – покой, и печаль, и радость.

О чем же тогда грустить? И еще спрашивать – что? Еще чего-то хотеть? Все ведь улажено; да; уложено на покой под покрывалом из розовых лепестков, осыпающихся лепестков. Осыпаются. Ах нет, перестали. Один лепесток завис на немыслимой высоте, как крошечный парашютик под невидимым аэростатом, и кружит, трепещет. Ему до нас не долететь.

– Нет, нет. Я и не заметила. Вот ведь ужас с этой музыкой – дурацкие мечты. Вторая скрипка отстала, вы говорите?

– Эта старая миссис Манроу пробирается к выходу. С каждым годом хуже видит, бедняжка, а тут такой скользкий пол.

Безглазая старость, седоголовый Сфинкс... Сейчас стоит на тротуаре, подзывает строго красный автобус.

– Как чудесно! Как дивно они играют! Как-как-как!

Язык без костей. Сама простота. Перья на соседствующей со мною шляпке пестры и приманчивы, как детская погремушка. В щели занавеса зелено вспыхивает платановый лист. До чего странно, до чего хорошо.

– Как-как-как! Шшш!

Двое влюбленных на траве.

– Если, сударыня, вы благоволите принять мою руку...

– Я бы и сердце вам вверила, сударь. Сверх того, мы оставили тела наши в пиршественной зале. Эти, на мураве, – только тени наших душ.

– Значит, это обнимаются наши души.

Лимоны и лавры кивают. Лебедь отталкивается от берега и сонно плывет на стремнину.

– И что же? Он провожал меня по коридору и на повороте наступил мне на кружевную оборку. Я вскрикнула: «Ах!» Я остановилась, нагнулась, а что мне еще оставалось? А он обнажил шпагу, сделал такой выпад, словно кого-то пронзает насквозь, крикнул: «Безумье, безумье!» – и я завизжала, а Принц, он что-то писал на пергаменте в эркере окна, вышел в скуфейке и туфлях, отороченных мехом, сорвал со стены рапиру – дар Короля Испанского, знаете, – и тут я сбежала, накинула этот плащ, чтобы было не видно порванную юбку, и сбежала... Но тише! Охотничий рог!

Господин так проворно отвечает даме, и она так взлетает по лестнице, и так остроумно обмениваются они любезностями, что речь их разрастается до страстного вздоха, теряет слова, но смысл остается достаточно ясен – любовь, смех, бег, ловитва, благословение небес – и все это окатывает веселой волною ликующей ласки – покуда серебряный разлив валторн, сперва очень дальний, близится, близится, и словно сеншалы возвещают рассвет или возвещают о победе влюбленных... Зеленый сад, лунный пруд и лимоны, влюбленные, рыба – все растворяется в дымчатом небе, покуда валторны, уже поддержанные трубами, подпираемые кларнетами, возводят там белые своды, прочно зиждущиеся на колоннах из мрамора... Гром победы. Лязг и звон. Прочное положение. Твердые основы. Марш миллионов. Смятение и хаос повержены в прах. Но город, к которому мы идем, – не из камня, и он не из мрамора; висит незыблемо, стоит неколебимо; и ни улыбки, ни флага навстречу. Пусть же сгинет ваша надежда; моя радость вянет в пустыне; открытое наступление. Голы колонны; безжалостны; они не отбрасывают тени; сверкают; темнеют. И я ретируюсь, я больше не хочу ничего, я только мечтаю уйти, найти свою улицу, узнавать дома, кивнуть зеленщице, сказать горничной, когда она откроет мне дверь: Какая звездная ночь.

– Доброй ночи, доброй ночи. Вам сюда?

– Увы. Мне туда.

Королевский сад

Не менее ста стебельков тянулись с продолговатой цветочной клумбы, раскрываясь – почти над самой землей – веером листьев в форме сердца или загнутых язычков, и разворачивали на вершине чаши красных, синих, желтых лепестков, усыпанные густыми цветными пятнышками; а из красного, синего, желтого сумрака на дне чаши поднимался твердый прямой росток, шершавый от золотистой пыли и чуть закругленный на конце. Лепестки были достаточно крупные, чтобы чувствовать летний ветерок, и когда они колыхались, красные, синие и желтые огни набегали друг на друга, бросая на бурюю землю невиданные отсветы. Краски ложились то на гладкую серую спинку гальки, то на раковину улитки в матовых бурых разводах; или вдруг, попав в дождевую каплю, взрывались таким половодьем красного, синего и желтого, что казалось, тонкие водяные стенки вот-вот не выдержат и разлетятся вдребезги. Но через мгновение капля вновь становилась серебристо-серой, а цвета играли уже на мясистом листке, обнажая глубоко запрятанные нити сосудов, и снова улетали и разливали свет на зеленых просторах под сводами листьев в форме сердца или загнутых язычков. Потом налетал более решительный порыв ветра, и, взметнувшись кверху, цветные огни летели в глаза мужчин и женщин, которые гуляют в июле по Королевскому ботаническому саду.

Фигуры этих мужчин и женщин двигались мимо клумбы в каком-то странном хаотическом круговороте, почти как бело-синие бабочки, которые причудливыми зигзагами перелетали с лужайки на лужайку. Мужчина шел чуть впереди, небрежной, расслабленной походкой; женщина ступала более целеустремленно и только иногда оборачивалась, чтобы посмотреть, не слишком ли отстали дети. Мужчина держался впереди намеренно, хотя, может быть, и бессознательно: ему хотелось спокойно подумать.

«Пятнадцать лет назад я привел сюда Лили, – думал он. – Мы сидели где-то там, у озера, и я упрашивал ее стать моей женой, долго-долго, и было очень жарко. Над нами без конца кружила стрекоза, как ясно я помню эту стрекозу и еще туфлю с квадратной серебряной пряжкой. Все время, пока я говорил, я видел эту туфлю, и когда она нетерпеливо вздрагивала, я знал, не поднимая глаз, что? ответит мне Лили; казалось, она вся в этой туфле. А моя любовь, моя страсть были в стрекозе; почему-то я думал, что, если она сядет вот там, на том листе, широком, с красным цветком посередине, если только стрекоза сядет на том листе, Лили сейчас же скажет: «Да». Но стрекоза все кружила и кружила; она так нигде и не села – ну конечно, и слава Богу, а то разве гулял бы я здесь

сейчас с Элинор и детьми?»

- Скажи мне, Элинор. Ты когда-нибудь думаешь о прошлом?

- А почему ты спрашиваешь, Саймон?

- Потому что я сейчас думал о прошлом. Я думал о Лили, о женщине, на которой мог бы жениться... Ну что ж ты молчишь? Тебе неприятно, что я думаю о прошлом?

- Почему мне должно быть неприятно, Саймон? Разве не каждый думает о прошлом в саду, где под деревьями лежат мужчины и женщины? Разве они не наше прошлое, не все, что от него осталось, эти мужчины и женщины, эти призраки под деревьями... наше счастье, наша жизнь?

- Для меня - туфля с серебряной пряжкой и стрекоза...

- А для меня - поцелуй. Представь себе, шесть маленьких девочек стоят перед мольбертами, двадцать лет назад, на берегу озера и рисуют водяные лилии, я тогда впервые увидела красные водяные лилии. И вдруг поцелуй вот здесь в шею, сзади. У меня потом весь день тряслась рука, я не могла рисовать. Я доставала часы и отмечала время, когда мне можно будет думать о поцелуе, только пять минут - такой он был драгоценный, - поцелуй седой старушки с бородавкой на носу, главный из всех моих поцелуев, за всю жизнь. Скорее, Кэролайн, скорее, Хьюберт.

Они миновали клумбу и пошли дальше, теперь все четверо рядом, и скоро стали маленькими и полупрозрачными среди деревьев, среди больших и дрожащих солнечных пятен, которые, чередуясь с тенью, не спеша проплывали по их спинам.

В продолговатой цветочной клумбе улитка, чью раковину минуты на две расцветило в красные, синие и желтые тона, теперь чуть-чуть зашевелилась в своей раковине и с трудом поползла по комкам рыхлой земли, которые то и дело отрывались и катились вниз. Перед ней, по-видимому, была твердая цель, что отличало ее от странного, большого и угловатого зеленого насекомого, которое попробовало двинуться вперед, потом застыло на мгновение с дрожащими усиками, словно размышляя, и вдруг так же быстро и непонятно метнулось

обратно. Бурые утесы над глубокими впадинами зеленых озер, плоские, как клинки, деревья, что колышутся от корня до вершины, круглые серые валуны, большие мятые круги тонкой, хрустящей ткани – все это лежало на пути улитки от одного стебля до другого, к заветной цели. Прежде чем она решила, обойти ли изогнувшийся шатром сухой лист или двинуться напролом, возле клумбы снова раздалась шаги людей.

На этот раз оба были мужчины. Лицо того, что помоложе, выражало, пожалуй, даже чрезмерное спокойствие; подняв голову, он очень твердо смотрел прямо перед собой, когда его спутник говорил, но едва лишь тот замолкал – снова опускал глаза и иногда отвечал после долгого молчания, а порой и вовсе не отвечал. У старшего была странно резкая и неровная походка: он выбрасывал вперед руку и круто вздергивал головой, совсем как нетерпеливая лошадь, впряженная в экипаж, которой надоело ждать у подъезда; только у него эти движения были нерешительны и бессмысленны. Говорил он почти непрерывно; улыбался сам себе и опять начинал говорить, как будто улыбка была ответом. Он говорил о духах – духах умерших, которые и теперь, по его словам, рассказывали ему много загадочного о жизни в раю.

– У древних, Уильям, раем считалась Фессалия, а теперь, после войны, духовное вещество носится по горам как громовые раскаты. – Он остановился, к чему-то прислушался, улыбнулся, дернул головой и продолжал: – Берешь маленькую электрическую батарейку и немного резины для изоляции обмотки... намотки?... обмотки?... – ну ладно, это мелочи, что толку говорить о мелочах, которых никто не поймет, – короче, ставишь весь механизм как-нибудь поудобнее у изголовья кровати, скажем, на изящной лакированной тумбочке. Рабочие устанавливают все как надо, по моим указаниям, и тогда вдова подносит ухо и знаком вызывает дух, как условлено. Женщины! Вдовы! Женщины в черном...

Тут он, по-видимому, заметил вдали женское платье, которое в тени казалось лилово-черным. Он снял шляпу, приложил руку к сердцу и рванулся за ней, что-то бормоча и отчаянно размахивая руками. Но Уильям поймал его за рукав и кончиком трости показал на цветок, чтобы отвлечь его внимание. Посмотрев на цветок в каком-то смятении, старик наклонился и приложил к нему ухо, а потом, словно в ответ на то, что услышал, стал рассказывать о лесах Уругвая, где он путешествовал сотни лет назад в обществе самой прелестной женщины Европы. И долго еще раздавалось его бормотанье о лесах Уругвая, усеянных гладкими, как воск, лепестками тропических роз, о соловьях и песчаных отмелях, о русалках и утопленницах, а Уильям вел его дальше и дальше, и все сильнее

светилась терпеливая грусть в его глазах.

Почти тотчас вслед за ними – так близко, что жесты старика уже могли показаться странными, – шли две пожилые женщины, по виду из небогатых, одна полная и медлительная, другая подвижная и румяная. Признаки чудачества, выдающие помутившийся рассудок, и особенно у людей с состоянием, были для них, как для большинства им подобных, чем-то невероятно интересным и увлекательным; но они шли все же слишком далеко, чтобы определить, просто ли старик чудаковат или в самом деле помешан. Внимательно, в молчании изучив его спину, а затем странно и хитро переглянувшись, они снова стали складывать из непонятных слов свой очень сложный разговор:

– Нелл, Берт, Лот, Сесс, Фил, папа, он говорит, я говорю, а она, а я, а я...

– А мой Берт, сестра, Билл, дед, старик, сахар,

Сахар, мука, селедка, зелень,

Сахар, сахар, сахар.

Полная женщина смотрела сквозь пестрый поток слов на то, как из земли холодно, прямо и надменно встают цветы, и в лице ее было недоумение. Эти цветы виделись ей так же, как видится человеку, едва очнувшегося от тяжелого сна, медный подсвечник, который по-новому и непривычно отражает свет; человек закрывает и открывает глаза, и снова видит медный подсвечник, и тогда уж совсем просыпается, и глядит на подсвечник не мигая что есть сил. Так и грузная женщина остановилась у продолговатой клумбы и перестала даже делать вид, что слушает свою спутницу. Слова летели мимо, а она стояла, медленно раскачиваясь взад и вперед, и смотрела на цветы. Потом она сказала, что хорошо бы найти удобное место и выпить чаю.

Улитка обдумала уже все пути, какими можно достигнуть цели, не обходя сухой лист и не влезая на него. Не говоря уж о том, как трудно влезть на лист, она сильно сомневалась, что тонкая ткань, которая так угрожающе вздрагивала и хрустела при малейшем прикосновении рогов, выдержит ее вес; это-то соображение и заставило ее наконец решиться проползти под листом, ибо в одном месте лист изогнулся настолько, что образовался удобный вход. Она как

раз сунула голову внутрь и критически изучала высокую коричневую крышу, понемногу привыкая к прохладным коричневым сумеркам, когда снаружи по траве прошли еще двое. На этот раз оба были молоды, молодой человек и девушка. Они были в расцвете счастливой юности или даже в том возрасте, который предшествует юному цветению, когда нежный розовый бутон еще не вырвался из упругой оболочки, когда крылья бабочки хотя и выросли, но неподвижно сверкают на солнце.

- Хорошо, что сегодня не пятница, - заметил он.

- Почему? Ты что, суеверный?

- В пятницу за вход берут полшиллинга.

- Ну и что? Разве это не стоит полшиллинга?

- Что «это» - что значит «это»?

- Ну... все... в общем, ты понимаешь.

За каждой из этих фраз следовало долгое молчание; произносились они отрешенно и без выражения. Вдвоем они стояли на краю клумбы и вместе давили на ее зонтик, кончик которого глубоко ушел в мягкую землю. То, что они вот так стояли и его рука лежала на ее руке, странным образом выражало их чувства, и эти короткие незначительные слова тоже что-то выражали; у этих слов короткие крылышки - им не унести далеко тяжкий груз значений, и потому они неловко садятся на привычные предметы вокруг, но какими важными кажутся они при первом, неопытном прикосновении! И кто знает (думали они, вместе сжимая зонтик), какие бездны скрываются, быть может, за ними, какие сияющие ледники лежат на солнце там, на другой стороне? Кто знает? Кто это видел? Даже когда она спросила, как в Королевском саду подают чай, он почувствовал, что за ее словами высятся туманные очертания, огромные и таинственные, и очень медленно туман рассеялся, и открылись - о боги, что это за картины? - белые-белые столики и официантки, которые смотрят сначала на нее, а потом на него; и счет, по которому он заплатит настоящей монетой в два шиллинга, и все это правда, все по-настоящему, уверял он себя, нащупывая монету в кармане, по-настоящему для всех, кроме них двоих; даже ему это стало казаться настоящим; а потом... но нет, невозможно больше стоять и думать, и он

резко выдернул зонтик из земли, ему очень не терпелось отыскать то место, где пьют чай – со всеми, как все.

– Пошли, Трисси, пора пить чай.

– Но где здесь пьют чай? – спросила она дрожащим от волнения голосом и, скользнув вокруг невидящим взглядом, пошла, увлекаемая им вдаль по зеленой аллее, волоча кончик зонтика по траве, поворачивая голову то вправо, то влево, забыв про чай, порываясь пойти то туда, то сюда, вспоминая про орхидеи, и журавлей на цветочной поляне, и китайскую пагоду, и пурпурную птичку с хохолком; но он вел ее вперед.

Так, повинувшись единому бесцельному и беспорядочному движению, пара за парой проходила мимо клумбы и понемногу пропадала в клубах зеленовато-голубого марева; вначале тела их были вещественны и ярко окрашены, но потом становились призрачны и бесцветны и вовсе растворялись в зелено-голубой дымке. Было очень жарко! Так жарко, что даже дрозд прыгал в тени цветов, как заводная птичка, подолгу замирая между двумя прыжками; белые бабочки не порхали над клумбами, а пританцовывали на месте, одна над другой, так что от крупных цветов тянулись вверх пляшущие белые струи, как разбитые мраморные колонны; стеклянная крыша оранжереи сверкала так, словно на залитой солнцем площади раскрылись сотни ослепительно-зеленых зонтиков; а гудение самолета над головой, казалось, исходило из самой души яростного летнего неба. Желтые и черные, розовые и белоснежные, фигурки мужчин, женщин и детей на мгновение вспыхивали на горизонте, а потом, когда в глаза ударял желтый свет, разлитый по траве, вздрагивали и прятались в тени деревьев, испаряясь, как водяные капли, в желто-зеленом воздухе, добавляя к нему чуть-чуть красного и синего. Казалось, все, что есть массивного и тяжелого, припало к земле и неподвижно лежит на жаре, но голоса неровно долетают от этих застывших тел, как огненные язычки мерцают над толстыми восковыми свечами. Голоса. Да, голоса. Бессловесные голоса, что вдруг разрывают тишину с таким сладким блаженством, с такой жгучей страстью или, если это голоса детей, с таким звонким удивлением; разрывают тишину? Но ее нет, этой тишины; все это время крутятся колеса, переключаются скорости в красных автобусах; как в огромной китайской игрушке, крутятся, крутятся один в другом шары из кованой стали, гудит и бормочет большой город; а над этим гулом громко кричат голоса и лепестки несчетных цветов бросают в воздух цветные огни.

Пятно на стене

Наверное, где-то в середине января я впервые подняла взгляд и увидела пятно на стене. Чтобы зафиксировать в сознании дату, нужно припомнить происходившее. Поэтому сейчас я представляю камин; ровный желтый свет, заливающий страницы книги; три хризантемы в круглой стеклянной вазе на каминной полке. Да, должно быть, стояла зима, мы только попили чаю, и я помню, что курила, когда подняла взгляд и впервые увидела пятно на стене. Я смотрела сквозь сигаретный дым; взгляд на мгновение задержался на горящих в камине углях, и в сознании возник знакомый образ пурпурного флага, развевающегося на башне замка, я думала о кавалькаде рыцарей в красном, едущих вдоль черной скалы. К некоторому облегчению вид пятна на стене прервал мои мысли о рыцарях, образ которых почему-то преследовал меня с детства. Небольшое круглое пятнышко чернело на белой стене, в шести-семи дюймах над каминной полкой.

Как же легко наши мысли обращаются к новому предмету – подхватывая его, словно муравьи, волокущие травинку, – а потом отпускают... Если это была дырочка от гвоздя, то на гвозде наверняка висела не картина, а, должно быть, миниатюра – миниатюра, на которой изображена леди с белоснежными напудренными кудрями, напудренными щеками и губами, словно красные гвоздики. Подделка, конечно, предыдущие владельцы имели склонность к таким вещам – старинная картина должна была украшать старую комнату. Да, вот такие они были, очень интересные люди, и я часто думаю о них в самые неожиданные моменты, потому что мы никогда их больше не увидим, не узнаем, что с ними стало. Они решили уехать из этого дома, потому что им захотелось сменить стиль мебели, так он сказал, а еще он говорил, что, по его мнению, в искусстве должна быть идея, но нас разлучили, он пронесся мимо, как перед глазами пассажиров скорого поезда проносится образ загородной виллы, где на террасе пожилая матрона разливает чай, а молодой человек вот-вот ударит теннисной ракеткой по мячу во дворике.

Но вот с пятном не знаю, не уверена; вряд ли это отметина от гвоздя; великовато и слишком круглое. Надо бы подняться и посмотреть поближе, но, ставлю десять к одному, я все равно не смогу сказать с уверенностью; потому

что стоит событию произойти, никто после точно не скажет, как именно оно произошло. О боже мой, просто тайна жизни! Неопределенность мысли! Невежество людское! Чтобы наглядно показать, как мало у нас власти над собственными вещами – все-таки глядя на нашу цивилизацию, удивляешься, насколько вся наша жизнь подвержена случайности – давайте припомним всего несколько потерянных вещей, начиная – а это всегда кажется одной из самых таинственных из всех потерь – кошка ли стащила, крыса ли изгрызла – с трех светло-голубых ящиков с инструментами для переплета книг. Потом были клетки для птиц, металлические обручи, коньки, ведерко для угля времен королевы Анны, доска для игры в багатель[1 - Багатель – настольная игра, где нужно закатывать металлические шарики в углубления, окруженные воткнутыми булавками. Является промежуточным звеном между бильярдом и пинболлом.]

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Багатель – настольная игра, где нужно закатывать металлические шарики в углубления, окруженные воткнутыми булавками. Является промежуточным звеном между бильярдом и пинболлом.

Купить: <https://tellnovel.com/virdzhiniya-vulf/dom-s-privideniyami>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)